ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

2001

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В давние годы Иван Варенников посадил на своем дворе тутовник, чтобы дочки лакомились. Иван постарел, дочки выросли, шелковица стала просторным деревом. И знаменитым. Всякий, если он не больно спешит, проходя мимо двора Ивана Вареникова, под развесистым тутовником, непременно ущипнет ягоду-другую, иссиня-черную, сладкую, с живительной кислиной.

- Борис Екимов
  - ◯

Борис Екимов
ВОЗЛЕ ДЕРЕВА

Степное наше селенье летней порою — словно гнездо зеленое. Глянешь с высокого придонского холма: домов не видать, пенится сплошная зелень, укрывая жилье и живье от жаркого солнца да суховея. Во дворах — яблони, груши, гущина смородины, вишен да слив. По улицам с обеих сторон, а порой и посередке высокие тополя, душистые по весне акации, тенистые клены.

Когда в полуденную пору приходится куда-либо из дома идти, обычай наш пробираться краем улицы, тенью, от древа к древу. И всякий ходок, если он не больно спешит, проходя мимо двора Ивана Варенникова, под развесистым тутовником, непременно ущипнет ягоду-другую, иссиня-черную, сладкую, с живительной кислиной.

Иван Варенников — неблизкий, но сосед мой, давний знакомый. За последние годы он очень постарел: похудел, из-под кепки седые косицы торчат. Но улыбка на лице все та же.

— Не пойму… — разводит он руками. — Ты вроде к властям поближе. В Москву ездишь. К чему идем?

Теперь он уже не работает. Третий год как бросил. Ему — за семьдесят. Всю жизнь плавал на буксирных теплоходах механиком. По Дону, по Волге. Когда стал получать пенсию, из речного порта ушел и устроился в рыбколхоз, снова на буксир, таскал рыбоприемки.

— К дому поближе, — объяснял он. — А на пенсию разве проживешь? Тем более у меня девки… Им помочь.

В рыбколхозе платили плохо.

— Не пойму… — с улыбкой разводил он руками. — Вроде рыбу ловим, сдаем… А зарплаты нет. Берите, говорят, селедкой мурманской… Как-то даже чудно…

Встречаемся мы с Иваном редко и лишь летней порой, когда я приезжаю в поселок. К почте, к магазинам стараюсь идти не улицей, а проулком, на углу которого Иванов дом. Он строил его долго и долго.

— На зарплату… — виновато улыбался Иван, когда его укоряли, — не разгонишься… Тем более девки у меня…

Но все же построил: большой, просторный. В нем и выросли дочери, теперь уже внуки кружатся.

А Иван на старости лет дачей обзавелся, на краю поселка, туда — лишь на автобусе, пешком не дойдешь. Конечно, это

никакая не дача, а лишь — земля, огород с картошкой да моркошкой. Снова работа с весны до осени.

— Приходится… — с виноватой улыбкой разводит руками Иван. — Пенсия — сам знаешь какая… А цены… Прямо я удивляюсь… Ты вот бываешь в других местах… Неужели у всех так? А как в городах живут? У нас хоть земля, ковыряемся, добываем…

Но эти разговоры нынче везде — про несладкую жизнь. А про Ивана завел я речь, вспомнив иное.

Тутовое дерево растет возле его двора, раскидистое, тенистое. По-нашему просто тютина. Все долгое лето на нем — черные сладкие ягоды, они поспевают не вдруг.

В прежние времена, в пору моего далекого детства, в поселке было трудно с водой: колодцы да журавцы — едва хватало на огород. Сады с яблоками, грушами да прочей сладостью — все это появилось потом, при воде вольной, из артезианских колодцев. А прежде лакомились тютиной, пасленом-«бзникой» да грушами-черномясками. Тютина начинает спеть рано, уже в июне у детворы синие губы и руки, на рубашонках следы спелой ягоды.

Нынче — иная пора. Все растет: от клубники до винограда и персиков. А торгуют и вовсе заморским: ананасы, бананы… Не удивишь…

Но поспевает тютина — у детворы праздник. Вольная сладость, и прямо с ветки. Правда, тутовника нынче осталось мало. Раньше сажали во дворах. Детворе поклевать да вареников с тютиной наварить. Белая тютина, красная, черная. Одна — пресная, другая — с кислиной. Бывает — мелкая, суховатая, а иная крупнючая, в палец. «Наша сладкая…» — хвалились. «А наша еще слаже!»

Это — в прошлом. Нынче тутовник — в небрежении, а значит — в редкость. И потому Иванова тютина всему поселку известна. Он посадил ее в давнюю пору, для своих маленьких дочек, чтобы далеко за ягодой не ходили. С тех пор много воды утекло. Иван постарел, дочки выросли, тютина стала просторным деревом. И знаменитым. Одно дело — ягода крупная, сладкая. Другое — и очень важное хозяин детишек не прогоняет.

Бывает ведь всякое. Обносят колючей проволокой деревья возле двора, сторожат, ругаются: «А ну кыш отсюда! Идите к своему двору!»

У Ивана тютина — для всех. Когда росло дерево, хозяин, обрезая лишние ветки, оставлял на стволе длинные сучья, словно перекладины лестницы, чтобы всякий малец легко мог взобраться на дерево. Вот и лезут. И расползаются по толстым ветвям. Дерево старое, раскидистое. Хватает всем места. Залезут,

усядутся поудобнее, клюют…

Мимо идешь — вроде никого не видно. Лишь зелень листвы. Но вдруг слышишь сверху, из кроны, — детские голоса. Пасутся… Одни наклюются, их сменят другие.

— Айда на тютину!

— Ты ныне на тютине был?!

— Мы два раза были!

Порою дерево отдыхает. А порою налетят, словно стая. Щебечут…

Иван со двора выйдет, его не боятся. Знают, что не прогонит. Лишь иногда спросит:

— Сладкая?

— Сладкая!! — отвечают хором.

А рядом с тютиной, вдоль забора, Иван иргу насадил. «Пусть клюют… говорит он. — А мы не такими были? — спросит у случайного собеседника. Такими…» — и заулыбается жмурясь.

Смолоду глаза у него были голубыми, всегда в прищуре улыбки. К старости выцвела голубизна, улыбка осталась, теперь уж навсегда. Не помню, чтобы он с кем-то ругался или даже повысил голос.

Иван — моего покойного старшего брата ровесник. Они вместе росли, учились. На войну не успели попасть. Но хлебнули лиха…

Он похож на моего старшего брата, на Славу. Но не лицом, не фигурой. Слава был тучным, круглолицым; Иван — всегда худощавый и ростом выше. А вот похожи… Наш Слава тоже никогда не ругался, голоса не повышал. Допекут, он вздохнет, разведет руками и улыбнется виновато: мол, не стоит…

Брат мой умер десять лет назад. Иван, слава богу, живой. Может, потому, что на воде работал. Все же — воздух. И поспокойней. Брат мой — на тракторном заводе. В дыму, в копоти, а главное — вечная маета. Оттого и сердце болело.

Зимою в поселке я бываю редко. Ивана не вижу. Летом любая дорога — мимо его двора, мимо тютины. В теплую пору, когда спеют ягоды, дерево не пустует. Всегда на нем ребятишки. Одни наедятся от пуза, другие прибывают и сразу наверх.

— Там слаже… — смеется Иван.

Останавливаюсь, кладу в рот ягодку-другую. Терпковатая сладость. Вспоминается детство.

— Веришь, взрослые люди идут, — говорит Иван, — незнакомые, остановятся, вот как ты, и вспомянут: мол, на вашей тютине выросли. — Он смолкает, а потом добавляет потише, кивая на дом соседний, через улицу: — Выпустили его, пришел, тоже подходил посладиться, говорит, в тюрьме ваша тютина

снилась. Вроде залезу на нее, как в детстве, ем-ем — и никак не наемся. Парень-то неплохой был… — вздыхает Иван.

Я согласно киваю, все понимая. Речь про взрослого уже сына нашей соседки-пьяницы. Всю жизнь она гулеванила. И сына сгубила. Второй ли, третий раз он в тюрьме. По мелочам… С такой маманей… Горькое дитё. Что он в жизни видал? Оттого в тюрьме и грезилась ему Иванова тютина, что в детстве его, может, единый свет — это дерево: зеленый кров, теплые ветви, сладкие ягоды, сверстники рядом. Как не вспомнить…

Постояли мы с Иваном, повздыхали над чужой бедой. Сколь ее. А теперь — тем более: работы в поселке нет, зато много воли.

— Не пойму… — виновато улыбается Иван. — К чему идем? Водка дешевле хлеба. Ты везде ездишь, в Москве бываешь… Неужели везде так?..

Что ответить ему?.. Лишь развожу руками. Иван все понимает.

— Надо ехать на дачу, — говорит Иван. — Колорадского жука — аж красно. И жара. Поливаем и поливаем. Дождя-то нет.

— Тютина будет слаже… — смеюсь я.

Иван соглашается.

Стайка детворы на разномастных велосипедах подкатывает к дереву. Машины в кучу. Сами наперегонки наверх. И вот уже нет их, пропали в кроне.

Мы с Иваном расходимся. Я — на почту, ему на дачу пора. Сверху, с дерева, птичий переклик: «У меня сладкая!» — «А у меня — еще слаже!»

Ухожу. Лето перевалило за середину. Теперь дни покатят быстрей и быстрей. Не успеешь оглянуться — сентябрь. Я уеду.

Когда от поселка далеко, я вспоминаю о нем, то видится всякое: старый наш дом, зеленый двор, улица, холмы Задонья, разные люди: и те, кто живы, и те, кто давно на кладбище. Порой Иван вспомянется, мой сосед, и, конечно, вместе со своим деревом, с тютиной. Если про Ивана вспомню, то невольно улыбнусь, словно отвечая на его тихую улыбку, теперь уже вечную.